

ТАТЬЯНА ОГУРЦОВА

ПРИМЕТЫ ПЕРЕМЕН

Ещё не появились между советскими республиками таможи и пограничники, ещё не было шоковой терапии, приватизации и миллионеров. Ещё даже не было понятно, к чему всё идёт. И введение талонов на некоторые товары казалось пиком неприятностей, а дальше всё войдёт в норму, казалось. Но стали появляться некоторые признаки. Приметы перемен. Отвалилась буква на вывеске магазина. И её не прикрепляли снова. Так и стояла вывеска щербатая. Сначала одна вывеска, потом несколько. Стали ломаться светофоры. Наверное, они и раньше ломались, но их быстро чинили. А теперь чинили долго, вернее долго не чинили. И уличное движение часами происходило только благодаря здравому смыслу водителей и пешеходов.

Но однажды, в один из первых дней ноября девяностого года, перед самым праздником (в том году ещё были на 7 ноября и военный парад в Москве, и праздничные демонстрации в городах, в том числе – в нашем) случилось и вовсе немислимое. На площади погас Вечный огонь.

Я увидела это, выйдя на перерыв из театра, где тогда работала. Перерыв у меня был большой – три часа, и я надумала съездить домой. Пошла по аллее, в начале которой был памятник с Вечным огнём. И увидела, что Вечный огонь не горит. Но вокруг не было встревоженной толпы. Никто не беспокоился, не шумел, не возмущался. Никто вообще не останавливался. Люди спешили мимо. Даже шага не замедляли.

Пошла и я своей дорогой, пытаюсь сообразить, что же делать. Пока прошла часть аллеи от памятника до фонтана, надумала звонить в милицию. Заглядывалась по сторонам в поисках телефона-автомата. Неподалёку от фонтана под высокой елью увидела двух знакомых поэтов. Они стояли влоборота друг к другу и беседовали. Один покуривал, другой просто дышал свежим воздухом солнечного и холодного ноябрьского дня.

Я подошла к ним поздороваться. Сказала про Вечный огонь и про то, что собираюсь позвонить в милицию.

– Позвони, – покивали они одобрительно и вернулись к своему разговору.

Я перешла через улицу к телефону-автомату. По 02 ответил молодой мужской голос. Милиционер выслушал меня и сказал:

– Позвоните 04.

04 – горгаз. Значит, теперь Вечный огонь – дело горгаза и только его? Это показалось диким. И я в замешательстве спросила у милиционера:

– А что же вы? Может быть, что-нибудь можно сделать?

Он как будто растерялся. Помолчал и сказал с запинками и паузами:

– Хорошо. Не беспокойтесь. Спасибо, что сообщили.

Я вернулась на аллею. Поэты по-прежнему стояли под елью. Я пересказала им свой разговор с милиционером.

— Позвони по 04, — солидным голосом посоветовал тот, который дышал воздухом.

— Не надо, он сам позвонит, — возразил, щурясь от табачного дыма, тот, который курил.

На этом мы и расстались.

Когда я через два с половиной часа возвращалась по той же аллее в театр, Вечный огонь ярко и ровно светился в ноябрьском предсумеречье. Но на душе было тревожно.

ПАРТИЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Произошло это до или после того, как известный театральный деятель публично, в какой-то телепередаче сжёг свой партбилет? Так вот, до или после — не помню. Но помнится, что помещение нашей областной организации Союза театральных деятелей тогда ещё находилось в драмтеатре, а значит, шёл 1990-й или 1991 год.

Наверное, всё-таки после режиссёрского представления. Потому что нужен же был пример, прецедент, указание, как надо поступать. А дальше творческое мышление найдёт выход из ситуации.

А ситуация была такая. Тогдашний председатель нашего областного отделения Союза театральных деятелей, народный артист, являлся ещё и руководителем партийной организации театра. Он был большой трудяга, ко всем своим профессиональным и общественным обязанностям относился очень добросовестно. Своей актёрской профессией был поглощён. Роли играл и героические, и характерные. Но всегда главные. А порой и за режиссёрскую работу брался.

Он был неутомимый хлопотун. Обивал пороги начальственных кабинетов в попытках добыть для областной театральной организации отдельное помещение. И, забегая вперёд, скажу, что помещения этого он добился. Должно быть, и как парторг был хорош — принципиален, строг и справедлив.

Всё у него получалось. И всё у него было — и любимая работа, и известность, и звание, и признание среди коллег, и любовь театральной публики, и благополучие, и достаток.

Его выразительная внешность и достойная манера себя держать вызывали у окружающих уважение. Он производил впечатление человека серьёзного, мудрого и твёрдого.

И вдруг перестройка. И девяностые. И если прежде звание секретаря парторганизации зачастую давало человеку дополнительную уверенность в себе, значительный вес в коллективе и более высокое положение в обществе, то теперь, когда не стало горкомов, райкомов и обкомов, не то что парторгом, а и просто коммунистом называться сделалось, мягко говоря, неудобно. И он, предоставленный как парторг сам себе, без руководства обкома, заметался, запаниковал. Он ведь, как и положено творческому человеку, был легковозбудимым, беспокойным, мнительным. К тому же натренированное актёрское воображение...

Бог знает, какие перспективы рисовались ему. Неясно ведь было, что станет завтра. Несомненно, думал он и о возможных репрессиях против коммунистов. А у него на руках партийные документы. Что с ними делать? Пойти спросить некуда, сослаться не на кого.

Потом, гораздо позднее, выяснилось, что многие парторги сдавали документы своих организаций в архивы. Но он или не додумался, или посчитал, что незачем хранить информацию о том, кто в театре был коммунистом и, самое главное, кто был парторгом. И принял решение — документы надо уничтожить. Может, он ещё бы сомневался, может, закопал бы эти папки где-нибудь в лесу или на даче, но тут подоспела подсказка из телевизора.

И он собрал все бумаги и сжёг. Чем это сожжение было для него — сокрытием следов преступления или конспирацией от врагов? Кто знает.

Костёр из документов он жёг совсем не демонстративно. Скорее, тайно. Один и без свидетелей. Где-то на безлюдном берегу реки. Но умолчать о своём поступке не мог. Ему, актёру, нужно было одобрение публики. И он рассказал всё нам, сотрудникам театральной организации. Не знаю, говорил ли кому-то ещё, помню, как рассказывал нам. С нажимом, с некоторым даже пафосом. Пафос этот казался излишним, даже наигранным. За ним прятались растерянность, сомнения и страх осуждения.

Он рассказал и ждал нашей реакции, оценки. Сначала положительной. После первого десятка секунд безмолвия — хоть какой-нибудь. Но никто ничего не сказал. После тяжёлой паузы председатель заговорил было о чём-то другом, он вообще любил порой, расслабившись, поболтать о творческом и посплетничать о коллегах, но вдруг спохватился, что ему надо идти на репетицию, и вышел из союзовской комнаты.

До репетиции оставалось ещё очень много времени. Но он привык приходить заранее. Он вообще никогда не опаздывал.

ЮБИЛЕЙ

Ноябрь был холодный и тёмный, как и положено ноябрю. Но ещё темнее и холоднее он казался от того, что шёл 1992 год. Кто не знает или забыл, тогда было не только темно и холодно, но и нище, и голодно, и безнадежно.

Когда я вечером вернулась домой с работы, папа, открыв мне дверь, сказал:

— Светка приходила звать тебя на день рождения. Пойдёшь? А то мы ужин на тебя не готовили.

Последние слова, про ужин, он сказал как будто бы в шутку, даже улыбнулся. И понятно же было, что без ужина меня мои родители не могли бы оставить. Но понятно было и то, что если я не пойду к Светке, а останусь ужинать дома, то моя порция будет состоять из отнятых у родителей частей их ужина.

Но я не собиралась отказываться от Светкиного предложения вовсе не из-за ужина. Светка в последние годы была моей ближайшей подругой. И вот ей исполнилось тридцать лет. Не поздравить её с юбилеем я не могла. Я и подарок приготовила. Долго ходила по базару и прилегающим к нему улицам среди прилавков, палаток и просто разложенных на земле товаров, искала, выбирала, торговалась. Купила знаменитый импортный шампунь. Вряд ли сегодня кто-нибудь станет дарить такое на юбилей. Бедно и странно. Но тогда это был почти роскошный подарок. Одной моей знакомой, например, в те годы на день рождения подарили средство для мытья посуды, и она была искренне рада, а я так даже немного ей завидовала.

Впрочем, были ещё цветы. Большие морозы пока не наступали, и мелкие разноцветные хризантемы продавались изобильно и недорого. Я выбрала бордовые.

Светка жила в соседнем доме. Когда я пришла, уже садились за стол. Светка, её родители и муж младшей Светкиной сестры Иры. Сама сестра лежала в больнице. Со дня на день она должна была родить.

Что-то выпили, чем-то закусили. Когда пили за родителей, Светка встала и принесла из своей комнаты подарки для них. Для матери она связала большой пушистый шарф, для отца — свитер с красивым узором на груди. Отец надел свитер и утонул в нём. Светка была обескуражена. А чему было удивляться? Вязала-то она по доперестроечному отцовскому размеру.

— Какие-то вы все худые, — смущённо и растерянно говорила она, обходя отца со всех сторон и поправляя на нём свитер.

К чаю были поданы пирожные. Каждому из трапезничающих по два. Одно пирожное — заварное, другое — корзиночка. Когда передо мной оказалась тарелочка с этой волшебной парочкой, сердце моё наполнилось ликованием. Сначала я проглотила заварное. Сказать, что оно было вкусным — ничего не сказать. Я вообще не могу сказать, каким оно было.

Медленно переведя дух, я потянулась за корзиночкой. Грибок со шляпкой-печеньицем, две маленькие кремовые розочки — розовая и жёлтая — и три зелёных кремowych листочка. Я примеривалась, с какого бока мне сподручнее ухватить это неожиданное счастье, но тут Светкина мать спросила у зятя:

— Саша, ты когда завтра пойдёшь к Ире?

— Утром, — ответил он.

— Возьмёшь ей пирожное, — сказал мать и отодвинула от себя тарелочку, на которой лежало заварное пирожное.

Я оглядела стол и увидела, что у всех осталось по одному пирожному. У отца и Саши корзиночки, как у меня, а у Светки — заварное. И все потихоньку отодвинули от себя тарелочки.

Мои пальцы, уже сложившиеся было для того, чтобы вцепиться в пирожное, застыли и не хотели разжиматься. И тогда я незаметно потянула руку на себя и спрятала её под стол. А другой рукой отодвинула тарелку.

— Я не люблю сладкое, — сказал Саша.

Мать одобрительно кивнула.

Потом перевела взгляд на меня и на сидящую рядом со мной Светку и сказала:

— А вы, девочки, кушайте. И ты, отец.

Мне до аффекта хотелось пирожного, и решение матери обрадовало меня. Я понимала, что решение это несправедливое и что нельзя, стыдно с ним соглашаться. Но я не смогла не согласиться. Ни на кого не глядя, я схватила свою корзиночку.

Не знаю, съели ли свои пирожные Светка и её отец. Не помню, как закончился юбилей и как я пришла домой. Но ту корзиночку помню очень хорошо. И это горькое воспоминание.

ТЮЛЬПАНЫ В ПАЛИСАДНИКЕ

Палисадник возле небольшого дома был просто набит цветущими красными тюльпанами. Больше нигде на всей улице не было столько цветов, да ещё таких крупных, высоких и ярких. Невероятно, неестественно ярких.

— Какие тюльпаны! — восхитилась Ирина.

Она приехала из города в гости к своей институтской подруге. Тамара встретила её на автобусной остановке. И сейчас они неторопливо шли по пустой деревенской улице. Утро было пасмурное и ветренное. Иногда срывались дождики. Но весенний воздух был так свеж и ароматен, что Ирину охватывало радостное волнение, как когда-то в детстве и юности накануне 1 Мая.

— Какие тюльпаны! — повторила она и добавила: — Какие красные. Аж страшно.

Тамара дёрнула плечом и пробормотала осуждающе:

— Да уж...

— А что такое? — удивилась Ирина.

— Я тебе потом расскажу, — махнула рукой подруга.

В этот момент из-за забора дома с тюльпанами донёсся грубый мужской голос.

— Я тебе что говорил, — орал он, — я тебе говорил, чтобы ты этого не делал! А ты что! Я же тебя завалю! Ты понял?

В ответ ему раздался звон цепи.

И опять:

— Я что говорил! Я же тебя завалю! Ты понял?

Слово “завалю” он выговаривал особенно чётко и выразительно.

Снова загремела цепь.

Ирина вопросительно посмотрела на подругу. Та хмуро сказала:

— Это Лёшка своего волкодава гоняет, воспитывает.

— А что он сделал?

— Да, может, ничего. Просто Лёшке зло сорвать надо. Пойдём скорее, дождь начинается.

Дождик действительно, было, начался, едва подруги вошли в Тамарину калитку, но тут же и иссяк. После чая пошли в сад к зацветающим вишням слушать весенних птиц, потом на огород. Полюбовались идеальными Тамариными грядками. Тамара познакомила Ирину со своей собакой и двумя котами. Потом обедали и вспоминали институтские годы. Перед вечером, несмотря на пасмурность и прохладу, решили прогуляться на край села к пруду.

По дороге поздоровались с вышедшей из ворот своего дома симпатичной женщиной примерно одних с Тамарой и Ириной, средних лет.

— Это Антонина Захаровна. Сына ждёт с работы, — сказала Тамара, — у него сегодня получка. Вот она и смотрит, чтобы Лёшка его не перехватил. Лёшка его подбьёт на выпивку. А Коля запойный. Его сколько раз уже с работы увольняли. И лечился, и кодировался, всё только на время. Но сейчас уже полгода не пьёт. Сам держится.

— А Лёшка что же не знает, что Коле нельзя?

— Знает, конечно. А ему-то что?

— А этот Лёшка, он один живёт?

– Почему один. Жена у него, Райка.
– А как же они с Антониной Захаровной? Живут на одной улице. Почти соседи. А сына её спаивают. Может, она просто так вышла, заждалась?

– Да нет, не просто так. В девяностые годы Коля к ним ходил и ещё несколько человек там собирались. Самогон у кого-нибудь в деревне покупали и пили. Неделями пьянствовали. Когда у Коли денег не было, он приносил какую-нибудь закуску. Однажды и закуски не было. Так он принёс им свою собаку. Они её убили, и Райка котлет нажарила. Ещё и мясорубку у Антонины Захаровны брала. Но потом Колю первый раз закодировали. Тогда это кодирование уже распространилось. И он перестал ходить в Лёшкину компанию. Слава богу, а то бы попал в беду.

– Что за беда?

– Человека Лёшка с друзьями убили. Этот Славик неплохой парень был, и красивенький такой, но совсем бесхарактерный. Он был сирота. Его воспитывала Наталья Степановна, дальняя родственница ему, тётка какая-то троюродная. Пока она жива была, вроде бы ещё ничего, работал в колхозе. Как умерла, Лёшкина компания его затянула. Не работал уже, по людям ходил, нанимался кому что по хозяйству сделать. Что заработает, всё на пьянку с Лёшкиной компанией уходило. Когда ничего у него не было, в долг его поили. Потом стали деньги требовать. У него нет. И убили его.

– Как так убили?

– Зверски. Прямо у Лёшки и Райки в доме. Райка ему дала таз держать, чтобы кровь на пол не лилась. Его убивали, а он таз держал.

– Эта Райка, она что, ненормальная или тоже пьяница?

– Да нет, она в городе в столовой работает. Её Антонина Захаровна спросила: “Ты не ужаснулась, когда Славика убивали?” А она говорит: “Ты же не ужасаешься, когда по телевизору детективы смотришь”.

Тамара и Ирина уже не шли, а стояли за селом у маленького прудика с зелёной водой и камышами.

– По сколько-то лет им дали, не помногу, – продолжала Тамара. – Так дело повернулось, что вроде бы в драке его убили, случайно. Но Лёшка и того не отсидел. Его выпустили раньше. Райка ездила всюду, хлопотала, деньги возила. А цветы эти она в палисаднике у Натальи Степановны выкопала и себе посадила, когда Славика уже убили и Лёшку посадили.

Подруги медленно шли домой. Издалека видели, как Антонина Захаровна пропускает во двор молодого мужчину в камуфляжной рабочей куртке – Коля пришёл.

Издали же ударили по глазам яркие цветы Райкиного палисадника.

– Вон дом Степановны, – махнула рукой Тамара на противоположную от Лёшки-Райкиного дома сторону улицы.

– А кто там теперь живёт? – зачем-то спросила Ирина, оглушённая её рассказом. – Домик вроде неплохой и не брошенный.

– Родственники Степановны продали переселенцам из Киргизии. Она-то думала – Славика останется. Старалась, трудилась, чтоб порядок был на усадьбе. А вон что вышло.

– А у них в палисаднике нет таких цветов.

– Как Райка покопалась, так и перевелись. Они вон других каких-то насадили.